

2

Литературный журнал

Артикль

№2 (34)

Коллектив авторов
Артикулъ. №2 (34)

«Издательские решения»

Коллектив авторов

Артикулъ. №2 (34) / Коллектив авторов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-837502-6

Израильский журнал «Артикулъ» — неординарное явление в современной литературе. Это издание собрало под одной обложкой лучшие литературные силы не только той страны, в которой оно создаётся, но и всего русскоязычного мира. Теперь «Артикулъ» выходит к читателям одновременно в электронном и бумажном издании. Это второй номер обновлённого журнала.

ISBN 978-5-44-837502-6

© Коллектив авторов
© Издательские решения

Содержание

Проза	6
Ирина Сумарокова КУПАЛЬЩИЦА	6
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Артикул

№2 (34)

Редактор Яков Шехтер

Редактор Михаил Юдсон

ISBN 978-5-4483-7502-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Проза

Ирина Сумарокова КУПАЛЬЩИЦА

Посвящается памяти замечательного украинского художника Михаила Андреевко-Нечитайло

Это продолжалось шестьдесят два года. Да. Именно столько. Впервые он увидел ЕЁ, когда ему было тринадцать, а обрёл только вчера, за два дня до своего семидесятипятилетия. Вот ОНА. Здесь. У него дома. В кабинете. Напротив антикварной кушетки из карельской берёзы, над компьютерным столом, богато инкрустированным уральскими минералами. Всё, что там раньше висело – какая-то особо ценная чеканка, два лакированных корейских пейзажа, вышивка «Розы» в рамке красного дерева – он велел снять. Не важно, что ОНА занимает всего семьдесят на семьдесят сантиметров. Мал золотник, да дорог. Во всех отношениях.

Он смотрел на НЕЁ, но не разглядывал. Он всё разглядел ещё восемнадцатого сентября сорок седьмого года, когда пришёл к Славке спросить, что задали по физике. Он до сих пор удивляется, как его угораздило не записать домашнее задание. Разгильдяем он и в детстве не был.

С кушетки ЕЁ хорошо видно. Когда он начнёт умирать, ОНА будет перед глазами. Если, конечно, удастся умереть в кабинете на этой кушетке. Но он постарается. Конечно, удобнее было бы умирать в спальне на большой кровати с многослойным анатомическим матрасом, в котором есть всё, чтобы телу было комфортно: овечья шерсть, конский волос, чистый хлопок и даже кокосовая койра. Однако видеть в последний момент ЕЁ куда важнее, чем предсмертные удобства. А сейчас пора выпить тёплого: надо прогреть организм.

Он снял с малахитовой подставки мобильник, нажал на кнопку с цифрой один. Сработал номер Гали – медсестры и, по совместительству, горничной, уборщицы и кухарки. Внизу в гостиной затренькало. Значит, она там. Валяется на диване. Не для того сын велел обтянуть диван крокодиловой кожей авторской выделки, чтобы на нём нежилась обслуга.

– Иду! – крикнула Галя.

Протопав по лестнице, как медведь, она ввалилась в комнату. Колыхнула грудями, остановилась и выпятила зад. «Бюстгальтер не носит и большим задом своим гордится?» – подумал он и поморщился: за редким исключением он предпочитал сухопарых женщин.

– Вот и я, Владимир Алексеевич! – она подобострастно улыбалась. – Желаете чайку?

– Да.

– С медком, с лимончиком?

– Да.

– И таблеточки примем?

– Да.

– А потом измерим температурку и кровяное давление?

– Да.

Она опять колыхнула грудями и вышла.

Мысль вернулась к тому дню. Он помнил его. Во всех подробностях.

...Фигурный звонок блестел, как золото. Такого звонка в те годы ни у кого не было.

Угрюмая домработница спросила:

– Тебе кого?

– Я к Славке. За уроками.

Славка выскочил в прихожую:

– А, привет! Разувайся. На тапки.

Переобувшись в тапки, он вслед за Славкой вошёл в комнату.

Такого богатства он никогда не видел! В углу стояла синяя с золотом ваза ростом с человека; на потолке вспыхивала цветными искрами люстра из хрустала. Возле окна в красивом, как для царя, кресле сидел Славкин отец в пижаме и курил папиросу. Напротив, у стены возле трюмо – но не простого и обшарпанного, как у них с матерью, а в рамках с русалками, сидела на скамеечке с львиными лапками Славкина мать в длинном золотом халате, как у артисток в кинофильмах, и выщипывала брови.

– Одноклассник? – непонятно кого из них спросила она.

Ответил Славка:

– Да, мам, это Вовка Шарыгин. За уроками пришёл.

– Аа...

Он хотел получше разглядеть русалок, их круглые, как теннисные мячики, сиськи и чешуйки на хвостах, которые были точно как у карпа, которого мать в позапрошлом году принесла на его день рождения из магазина «Живая рыба», но тут увидел ЕЁ...

ОНА была голая, но его глаза не поэтому к ней приклеились, тем более что тело у НЕЁ не дорисовали. Чёрные волосы были тоже не дорисованы, а всё-таки понятно, что они густые и причёсаны пучком, как будто ОНА учительница, но только учительницы – физичка, химичка, да и все другие – мымры, а ОНА красавица. Что ОНА красавица – он не сомневался, хотя её лицо увидеть не мог, потому что ОНА была повёрнута спиной. На всём теле у НЕЁ был загар, цветом, как мандарины. Правда, на середине спины художник почему-то сделал ей два длинненьких, как наклеенных, голубых пятна.

...ОНА стоит на зелёном камне, а камень лежит на песке точно такого же цвета, как ЕЁ загар. Дальше нарисован залив. Вода там по краям совсем светлая, а в середине – ярко-синяя.

Почему-то он сразу подумал, что это именно залив, а не озеро или пруд. Залив нарисовали совсем маленький: ей бы хватило гребков пять, чтобы доплыть до другого берега. А там – вход в тоннель. Да, наверное, в тоннель. Сам вход покрашен чёрной краской, а снаружи обложен серыми камнями. Непонятно только, зачем тоннель провели прямо к воде. Куда из него ехать, в воду, что ли?

Славка сказал, пихнув его локтем в бок:

– Пошли в мою комнату.

Он пробурчал:

– Ага, пошли.

Но не шёл.

– Ты за уроками пришёл, или на голую тётку зырить? – косясь на родителей, шипел Славка, которому не терпелось похвалиться компасом.

На компас он среагировал слабо, но если б не ОНА, то, конечно, пропал бы от зависти.

– Это трофей. Отец мне его на день рождения подарил. Он привёз с войны до фига трофеев: патефон с пластинками, две шёлковые комбинации, шёлковые чулки – три пары, две вазы, люстру, кресло, женский халат, калейдоскоп и ещё полевой бинокль, – тараторил Славка. – Если буду учиться на «четыре» и «пять», папка мне его тоже подарит на день рождения. В смысле, на следующий.

Сразились в шашки. Славка выиграл и хотел сыграть ещё, но он не стал, потому что хотелось побыстрее увидеть ЕЁ. Соврал, что мать заругается, хотя мать должна была прийти с работы только через четыре часа.

Около картины он замедлил шаг и, скосив глаза, поглядел на НЕЁ украдкой, как в чужую тетрадь.

Теперь ОНА не показалась недорисованной. Он подумал: «Нормально нарисована. Только ОНА не такая, как все».

... Да, за эти шестьдесят два года он ничего не забыл. Он даже помнит, как Славкин отец ленивым движением вытащил изо рта папиросу, ткнул ею по направлению к картине, зевнул, пошлёпывая себя по губам свободной от папиросы рукой, и сказал:

– Она висела в особняке у немца, у профессора. На дверях ещё табличка прибитая была, медная такая, аккуратная: «Профессор Абелард или Алебард – теперь не вспомню, а фамилию запомнил: фон Бистрам. Наши всё балагурили: «Бистрам драпал быстро». А жена, говорят, у него была русская. Это ж какой надо быть прощмандовкой отпетой, чтобы русской женщине с немчурой сойтись, пусть он хоть профессор, хоть кто...

– Чего ты зря женщину осуждаешь, – вмешалась Славкина мать. – Они ж, небось, поженились, когда ещё войны не было.

– Может, ты и права. Речь-то не о ней. В общем, драпануть-то они драпанули, а имущество вывезти не успели. Эту картинку никто из наших не взял. Решили, мол, ерунда какая-то недоделанная. А я подумал: «Раз висела у такого культурного немца, значит, вещь ценная». Там, кстати, на изнанке дата стоит: тысяча девятьсот двадцать пятый, и надпись не по-русски, но и не по-немецки. Немецкий-то я сколько-то понимаю. В Германии было, конечно, не до надписей на картинках, а здесь на досуге мне стало интересно: чего там написано? Я пошёл к одной старушке из нашего подъезда, бывшей учительнице французского языка. Она надпись и перевела: «Купальщица П. П. Андриевский». Надпись-то оказалась на французском, а фамилия – русская. Странно вообще...

– Странно вообще... – передразнила Славкина мать, и её накрашенные глаза сузились. – Что хорошего в этой мазне? И Славику ни к чему смотреть на такое неприличие.

– У тебя кругом всего трюмо голые русалки вьются, и ты не переживаешь, что Славка на их буфера любит, – сказал отец.

– Моё трюмо – родительское наследство. А эту гадость – уедешь в командировку – выброшу!

– Я тогда тебя выброшу!

Славкин отец улыбался, но злобно, как мачеха из кинофильма «Золушка».

– Папка любит мамку дразнить, – объяснил Славка, когда они вышли в прихожую.

Нельзя сказать, что он со Славкой дружил (он никогда ни с кем не дружил), но теперь после школы они вместе шатались по Нескучному саду, жевали вар, искали на аллеях деньги, собирали жёлуди (Славка делал из них и из спичек человечков). Потом шли к Славке сразиться в шашки. Когда родителей дома не было, играли в большой комнате. Славка сидел, как барин, в отцовском кресле, а он ставил себе стул напротив «Купальщицы».

В один из таких дней он впервые вошёл – вернее, запрыгнул – в картину.

Этот как-то само получилось. В квартире было сильно натоплено (до батарей не дотронуться), и ногам в тапках и полушерстяных носках стало жарко, а снять носки он стеснялся, потому что когда вчера ложился спать, не помыл ноги. Пока Славка пыхтел над очередным ходом, он смотрел на картину, и ему страшно захотелось поболтать голыми ногами в этой, наверное, холодненькой, воде. Он представил себе, что снимает тапки и свои толстые кусачие носки, закатывает до колен лыжные шаровары, в которых и гулял, и в школу ходил, разбегается и прыгает в залив.

... Вода доходит ему как раз до закатанных шаровар. Ногам хорошо, прохладно, хотя вода вроде как не мокрая. Но он не удивляется: это ж картина, значит, вода – по сути, высохшая краска.

... ОНА стояла совсем близко. Ему жуть как хотелось увидеть её лицо. Надеясь, что она обернётся, он дотронулся до её спины, до того места, где у человека правая лопатка, хотя лопатку художник ей не нарисовал.

Его дёрнуло, как током. Он вскрикнул.

– Ты чего?

Славкин голос вернул его в комнату.

– Пока ты думал, как пролезть в дамки, я заснул, и мне сон приснился, – соврал он.

– Про что? Чего тебе снилось? – приставал Славка.

– Не помню.

– А чего ты орал?

– Не помню, отстань.

С тех пор каждый раз, когда они играли в большой комнате, он запрыгивал в картину, а перед этим мысленно разувался, даже, если ногам не было жарко: он стеснялся лезть в картину в тапках или даже в носках. Ноги он теперь всегда мыл на ночь и утром тоже.

...Он мечтал увидеть её лицо. Несколько раз он пытался обойти ЕЁ, но с какой бы стороны не заходил, ОНА всегда оказывалась повёрнутой к нему спиной. И всё-таки он почему-то был уверен, что ОНА к нему когда-нибудь повернётся, и тогда он станет счастливее всех, даже Славкиных родителей, у которых есть всё: и обстановка, как у царей, и домработница, и даже ОНА.

...«Купальщицу» Славкина мать всё-таки выжила из дома.

– Купальщицу отдали, – доложил Славка.

– Кому?

Он с трудом выдавил из себя вопрос, потому что горло перехватило.

– Соседке, училке старой. Помнишь, папка рассказывал, что она надпись перевела? Она тогда восхищалась, как чокнутая, этой картинкой. Мать ей и отдала. Отец сначала ругался, а потом махнул рукой: женщинам, говорит, ничего не докажешь...

Он спросил:

– Она из какой квартиры?

– Кто?

– Старуха.

– Из девяносто четвёртой. А что?

– – Так просто.

...Ей было, наверно, столько, сколько ему сейчас. Звали её так, что язык сломаешь: Корделия Вениаминовна. Он больше месяца набирался храбрости, чтобы позвонить к ней в дверь: учительница ведь... Подходить – подходил, а на кнопку нажать боялся. К тому ж, было непонятно, в какую кнопку звонить, фамилию-то он не знал.

Наконец, решился. Нажал наугад самую нижнюю, а это и была её кнопка.

Таких страхолюдных старух, да ещё с клюкой, он раньше никогда не видел: настоящая Баба-Яга!

– Здравствуй, мальчик, – сказала старуха. – Что ты хочешь? Говори, не стесняйся.

Он сразу успокоился и вдруг отбарабанил целую речь:

– Здравствуйте. Я Шарыгин Вовка. Я учусь в одном классе со Славкой Бирюковым из восемьдесят шестой квартиры. Мы в школе проходим немецкий, а я хочу выучить ещё французский, но моей мамке нечем вам заплатить. Она простая рабочая, а отец погиб ещё до войны. Он лётчиком был. Но я вместо денег могу помогать по хозяйству.

...Два года он бегал за продуктами и в аптеку, выносил помойку, убирался в её комнате и в местах общего пользования. Но это бы ничего. Одно только портило жизнь: проклятый французский. Каждый урок продолжался не меньше трёх часов. Особенно он ненавидел французские пословицы, поговорки и афоризмы, которыми она его постоянно мучила. Но он всё терпел, потому что над столом, за которым они занимались, была ОНА.

Если старуха задавала упражнение или перевести отрывок, а сама садилась читать, он сразу запрыгивал в картину. Однажды, когда он стоял на берегу залива и глядел на вход в тоннель, ему пришло в голову, что оттуда может выскочить поезд. А вдруг этот поезд по инерции промчится через залив и задавит ЕЁ? А если из тоннеля выйдут бандиты? Он бросился

в воду, переплыл залив и заглянул в тоннель. Там было темно и тихо. Он решил, что будет стоять и прислушиваться. Если услышит поезд или чьи-нибудь шаги – быстро поплывёт назад и загородит её своим телом или ещё как-нибудь спасёт.

Когда Корделия Вениаминовна, вставая, заскрипела стулом, и ему надо было возвращаться, она вдруг распрямила руку (правую, которая была закинута за голову) и указательным пальцем показала на небо. Раньше он думал, что неба в картине нет, потому что снаружи, из комнаты, его не было видно. Оказалось, что оно там есть, да ещё яркое, как синька. По небу гонялись друг за дружкой бумажные голуби и выполняли фигуры высшего пилотажа. А потом они так построились, что получилась надпись: «*Спасибо за заботу. Купальщица*».

...Корделия Вениаминовна заметила, что он часто смотрит на картину, и стала приставать с расспросами:

– Ты любишь живопись, Володя? Или тебе нравится именно эта картина? Я вижу, она тебя привлекает. А чем именно?

– Не знаю, – буркнул он.

Она похлопала его по плечу:

– Вот и хорошо, что не знаешь. Это говорит о том, что ты способен чувствовать особые эманации, которые исходят от шедевра. Откуда в тебе такая редкостная чувствительность – один Бог ведает. А картина эта – истинный шедевр. Только гений мог вложить столько чувства и столько поэзии в произведение, исполненное в сухом стиле синтетического кубизма! Художник Андриевский и есть гений в полном смысле этого слова, – она улыбнулась своим беззубым ртом. – Когда-то и я писала маслом и принимала участие в выставках. Но это было очень давно...

Он спросил:

– Зачем тоннель провели к воде?

Она удивилась:

– Тоннель? Где ты увидел тоннель?

– Да вот он. Вход камнями обложен.

– Это не тоннель, Володя. Это грот. Но твоё заблуждение вполне объяснимо. На этой картине грот, действительно, похож на нечто индустриальное. Стиль всегда диктует.

Он не знал, что такое грот, но спросить постеснялся: ещё подумает, что, мол, этот мальчик совсем дурак.

На перемене он пошёл в школьную библиотеку, взял том Большой Советской Энциклопедии со словами на «гро». Оказалось, что грот – это неглубокая пещера с широким входом. Он обрадовался: через пещеры поезда не ходят. И если она непроходная, то и бандиты не пройдут. «Слазая туда и обследую, – решил он, – только надо взять спички, а то там темно». Но потом он подумал, что от спичек картина может сгореть. Лучше взять фонарик. Своего у него не было. Но он видел, как дядя Лёша – сосед Корделии Вениаминовны – доставал фонарик из своего кухонного шкафчика, когда в уборной перегорела лампочка. Этот фонарик он и вытащил потихоньку. Потом, конечно, так же потихоньку вернул на место.

Когда старуха, дав ему задание, села за маленький столик читать свой любимый затрёпаный журнал «Аполлон», он запрыгнул в картину, переплыл залив (грёб только правой, потому что в поднятой левой держал фонарик) и вошёл в грот.

Фонарик не пригодился. В гроте теперь стало так светло, как будто во всех углах висели прожектора, хотя их там не было. Напротив входа была сплошная стена. Сюда не то что бандит, кошка бы не пролезла. Посередине стоял стеклянный столик, а на нём лежал калейдоскоп – очень большой, сантиметров, наверное, семьдесят или даже восемьдесят. Он весь блестел и отливал то золотом, то серебром. У Славки тоже был калейдоскоп, но раз в десять меньше и сделан был из простой картонки. Чтобы в Славкином калейдоскопе двигались стёклышки, его надо было трясти, а в этом всё двигалось само, и вместо стёклышек в узоры склады-

вались настоящие бабочки, всякие красивые жуки, цветы, звёзды, маленькие курчавые облака и кусочки радуги.

Он бы всю жизнь смотрел в этот калейдоскоп, но Корделия Вениаминовна отложила журнал, зевнула, кашлянула, сказала «Экскюзе муа». Пришлось вернуться и засесть за урок.

...После того, как он узнал, что на той стороне залива никакой опасности для Купальщицы нет, он начал беспокоиться насчёт голубых пятен на её спине. Может, это какая-то болезнь? Может, ОНА мучается? А если так – как помочь-то ЕЙ?

– Почему у неё, ну... у Купальщицы... пятна на спине? – спросил он Корделию Вениаминовну.

– Это не пятна, – ответила она. – Это, Володя, рефлексы. Знаешь, что такое рефлексы?

Он молча мотнул головой. Ему всегда – и в детстве, и потом – было неприятно говорить, что он чего-то не знает

– Тогда я тебе объясню, – трясущейся рукой она сняла очки и промокнула слезящиеся глаза стареньким платочком, который любила за то, что он мягонький. – Рефлексы, Володя, – это когда предмет влияет своим цветом на другой предмет. Море, поле, небо тоже дают рефлексы. Так вот: голубые участки на теле купальщицы – это рефлекс от воды. Обычно художники передают их мазками неопределённой формы, а тут – небольшие аккуратно очерченные овалы. Но для синтетического кубизма такое решение в порядке вещей.

– Мне Корделия Вениаминовна сказала, что у вас на спине рефлексы. А то я переживал, думал, вы болеете, – сказал он ЕЙ, когда в этот день запрыгнул в картину.

И ОНА улыбнулась! Самой-то улыбки он, конечно, не видел: ОНА же стоит к нему спиной. Но он увидел, как ОНА вся засияла, и от этого воздух вдруг стал золотистым; камни заблестели, как будто на них плеснули лак, а вода засверкала, как будто в неё высыпали целый мешок блёсток для ёлочного снега. И тут до него дошло: это ж – рефлекс от её улыбки!

...С тех пор, как «Купальщицу» отдали, он перестал шататься со Славкой по Нескучному саду и домой к нему тоже больше не ходил. Сказал, что некогда, потому что помогает старухе по хозяйству за то, что она занимается с ним французским.

– На фиг тебе французский? – удивился Славка.

– Пригодится, – отвечал он. – Если нападут французы, меня возьмут военным переводчиком...

– Ты чего городишь? Франция против нас не воевала. Против нас гитлеровская Германия воевала.

– А Наполеон? Ты чё, забыл, что он на нас напал?

– Дурак, это было при царизме!

– Ну и что? – не сдавался он. – Они сейчас тоже против нас. Франция – страна капитала, а мы – наоборот – страна рабочих и крестьян.

...Через два года Корделия Вениаминовна умерла.

На похороны приехала племянница – важная мадама, преподаватель ВУЗа. С ней приехала дочка, носатая губастая уродина его возраста. От этой девчонки он узнал, что «Купальщица» достанется им с мамой, и они её сдадут в комиссионный магазин на Арбате.

Он спросил:

– Когда пойдёте сдавать?

– В воскресенье утром. Как только получим за неё деньги, мама их отложит, чтобы после того, как я окончу школу, купить для меня приличный гардероб.

– Тебе что, некуда одёжки вешать? – удивился он.

Уродина улыбнулась ему, как дурачку, и объяснила:

– Речь идёт не о мебели. Слово «гардероб» имеет второе значение: это когда у человека есть вся необходимая одежда плюс выходное платье и лакированные туфельки на танкетке.

Она всё время вертелась около него. Он понимал, что нравится ей, и это его не удивляло. К своим пятнадцати годам он уже привык, что нравится девчонкам, потому что был красивый: высокий, плечистый, с волнистым русым чубом, голубыми глазами и небольшим аккуратным носом. И прыщей у него, как у других пацанов, не было. Однажды, ещё в пятом классе, соседка по подъезду – тоже пятиклассница – поцеловала его в лифте и всего обслюнявила. После этого он не подпускал к себе девчонок.

...В то воскресенье, когда мать ещё отсыпалась, он, даже не поев, а только сунув в рот кусок сахара, помчался на Арбат. Он ещё в субботу сгонял туда на разведку и теперь знал, где там комиссионный.

Ехал зайцем на седьмом троллейбусе от своей остановки «Пятая Советская больница» до кинотеатра «Ударник», а дальше шёл пешком.

К магазину он подошёл за пятнадцать минут до открытия и решил пока постоять в соседнем переулке (сейчас уже не вспомнить, как он называется или назывался: ведь в девяностые было поветрие всё переименовывать). Не хотелось встречаться с родственницами Корделии Вениаминовны. Он их издали поджидал.

Они пришли минут через двадцать. Картину, завернутую в скатёрку с кистями, которая раньше лежала на круглом столике для чтения, несла подмышкой племянница. Они весело болтали, видать, смаковали, как будут тратить денежки, когда ЕЁ продадут. На обеих были шикарные цигейковые шубки, пуховые шапочки, пуховые шарфики и пуховые варежки: на девчонке – малиновые, а на её мамаше – голубые. (На похороны они приезжали в драповых пальто и в ушанках). Стало обидно за «Купальщицу», за то, что от неё так рады избавиться, что вырядились, как на праздник.

Ему повезло. Картину повесили так, что её было видно в окно. Правда, мешало стекло, в котором всё подряд отражалось: деревья, дома, прохожие. А прохожие мешали ещё и тем, что то и дело спрашивали, как пройти на Красную площадь, или в ЦУМ, или ещё куда-нибудь. Наверное, поэтому он целых одиннадцать дней не мог попасть в картину.

...Был январь. Да, именно январь, потому что школьников распустили на зимние каникулы, и он приходил каждый день к открытию магазина (до каникул он тоже приходил сюда каждый день, но не утром, а после уроков). Как всегда, он занял позицию около фонаря напротив комиссионного. Была страшная холодрыга. Полуботинки не спасали, хоть он и пододел полушерстяные носки. Чтобы ноги совсем не околели, он старался шевелить пальцами. Но получалось плохо, потому что ногам было тесно. Мать, бывало, шутила: «У тебя, Вовка, ноги растут шибче моей полочки». Он развязал шнурки, но это не помогло, и тогда совсем разулся. Не на морозе, конечно, а в картине, на тёплых камнях. Когда ноги отогрелись, ОНА вдруг протянула вперёд правую руку и указала на грот. И он туда сразу же поплыл.

В гроте, оказывается, был белый камин из мрамора, как в трофейных кинофильмах. В прошлый раз он его не заметил, наверное, потому, что увлёкся калейдоскопом.

...Ярко горели дрова. Он подошёл и стал греться (ноги-то на камнях отогрелись, а рукам и телу было ещё холодно). Он грелся, смотрел на огонь и вдруг заметил, что языки пламени стали так изгибаться, что из них получились буквы. Из этих букв сложились слова, а из слов – предложение: **Я рада, что ты отогрелся. Купальщица.** Он хотел сказать: «Спасибо», но подошла какая-то тётка и спросила, как пройти к театру Вахтангова. «Не знаю», – соврал он, потому что обозлился на эту тётку, из-за которой не успел поблагодарить ЕЁ. Теперь ОНА, наверное, думает, что он хам.

В тот год мать добилась у начальства, чтобы его взяли вожатым в пионерлагерь на все три смены. Он в прошлом году туда просился, но не было мест. Мать думала, Вовка обрадуется, а он упёрся и не поехал, а все каникулы провёл на Арбате напротив комиссионного магазина.

В конце августа (кажется, это было двадцать пятого числа, а может и двадцать шестого, теперь уж в точности не вспомнить) одна из трёх продавщиц, Нина Захаровна – толстая старуха

с жёлтыми волосами и покрашенными губами (впоследствии, вспоминая её, он понял, что ей было лет тридцать пять, и она была не толстая, а имела нормальную женскую комплекцию), вышла с длинной сигаретой «Фемина» и с коробкой спичек, закурила, но не осталась, как обычно, у дверей магазина, а двинулась напрямик к нему. Подойдя, затянулась, прищурилась, медленно выпустила дым и спросила:

– Ты зачем сюда ходишь?

И вдруг, как тогда, когда он напрашивался к Корделии Вениаминовне, его вдруг провало, и он – парень не из говорливых – чего только не наговорил: и что мать работает на вшивенькой фабричке трикотажных изделий, где делают дешёвые чулки и ещё какую-то муть; что платят там сдельно, но оборудование старое и всё время ломается, поэтому она получает копейки, а отец с ними не живёт и алиментов не платит; что из-за безденежья ему придётся устраиваться на работу, а доучиваться – в вечерней школе.

– Вот бы к вам в магазин устроиться! – он просительно заглянул Нине Захаровне в глаза. – У вас такое всё красивое! Могу работать курьером – я Москву хорошо знаю. Могу грузчиком: я сильный, жилистый. Могу в магазине убираться: я с детства мыл в коммуналке места общего пользования.

– Чего ж ты тут выстаивал? Почему не зашёл, не поговорил? – участливым тоном спросила Нина Захаровна.

Он опустил голову и тихо, почти шёпотом, проговорил:

– Стеснялся...

– Стесняться надо не тебе, а твоему отцу-паразиту, – выпуская дым, произнесла Нина Захаровна.

Деликатным плевком она загасила окурок, бросила его в урну и скомандовала:

– Пошли.

Покупателей не было. Две другие продавщицы – тоже с жёлтыми волосами и покрашенными губами – стояли посреди торгового зала и разговаривали.

Нина Захаровна подвела его к ним и пересказала его историю. Продавщицы слушали и глядели на него добрыми материнскими глазами. Потом одна из них – кажется, это была Людмила Петровна – спросила:

– Тебя как звать?

– Шарыгин Володя.

– Идём, Шарыгин Володя, в бытовку, попьёшь чайку с бутербродами.

– Я его в уборную сначала провожу, а то он часов пять не сикал, на улице стоял, – сказала Нина Захаровна.

Она всё и устроила – через сестру, которая была замужем за директором комиссионного. Выпивоху-грузчика уволили, а его взяли на освободившуюся вакансию. Последние два класса он проучился в Школе рабочей молодёжи.

Дел в магазине хватало: он перетаскивал из отдела приёмки в торговый зал скульптуры, картины, вазы, коробки с сервизами, люстры; упаковывал покупки, мыл фарфор и фаянс, смахивал пыль с картин. Кроме того, продавщицы посылали его то в ЦУМ, то в Военторг, то в Детский Мир, где он часами стоял в очередях за английскими туфельками-лодочками, за тёплым мужским бельём, за детскими костюмчиками, плюшевыми медвежатами, жестяными автомобильчиками и другими дефицитами. Если оставалось время, он делал в бытовке домашнее задание, скрючившись над краешком стола, заставленного едой.

Получку он отдавал матери, но не потому, что хотел ей помочь или жалел её. За что жалеть-то? За то, что работает на фабрике? А чего здесь такого? Все бабы трудятся, кроме, конечно, полковничьих жён, таких, как Славкина мать; ну, и генеральши, понятное дело, дома сидят и прислугой командуют. Деньги он ей отдавал, потому что они ему были не нужны. Он не ради денег вкалывал, как папа Карло, а чтобы с работы не уволили, то есть чтобы не разлу-

чили с НЕЙ. Себе он оставлял только на проезд. Поначалу мать собирала ему с собой поесть, но и от этого он вскоре отказался, потому что продавщицы кормили его бутербродами с икрой, бужениной и швейцарским сыром, после которых материн колбасный сыр и дешёвая колбаса под названием «Отдельная» не лезли в горло.

Всё было бы нормально, если б не одно обстоятельство: по вторникам, четвергам и пятницам, когда были занятия в вечерней школе, надо было уходить с работы на час раньше. Каждый раз он переживал: а вдруг, пока его нет, «Купальщицу» купят? Тогда он её больше никогда не увидит. По этой же причине он нервничал, когда продавщицы его куда-нибудь посылали. Если «Купальщицу» купят при нём – он знал, что делать: влезет к покупателю в душу и будет к нему ходить.

Учился он, как Ульянов-гимназист, потому что надо было обязательно поступить в ВУЗ, чтобы не забрали в армию. Нет, армии он не боялся: сил у него в те времена было много, характер, мозги, руки – это всё тоже имелось. Но за два года, пока он будет в армии, «Купальщицу», скорее всего, купят, и он её больше не увидит.

В те дни, когда не надо было идти в школу, он оставался в магазине позже других, якобы, чтоб всё расставить по местам. До прихода уборщицы оставалось примерно полчаса. В это время никто не мешал войти в картину.

...В гроте появился телевизор. Но не тогдашний чёрно-белый с малюсеньким экранчиком и отдельной круглой линзой, а плоский, величиной в полстены. Таких телевизоров в те годы еще не было.

Передача начиналась, как только он садился в кресло, стоявшее напротив стены с телевизором.

Показывали красивые вещи.

...Медленно поворачивался мраморный мальчик. Вот уже появился и гусь, схвативший его клювом за пятку. Мрамор так и светится! А поэтому и на мальчика приятно смотреть, и на гуся.

...Постепенно укрупняясь, приближалась люстра, вся украшенная фарфоровыми розами, лилиями, георгинами, вьюнками, бабочками и даже ангелами.

Однажды, на экране появилось фаянсовое блюдо для фруктов, сделанное в виде трёх переплетённых виноградных листьев. Листья были как настоящие; один даже вроде как засох по краям, другой немножко загнулся, а на третьем сидела улитка. Ему вдруг страшно захотелось увидеть настоящие виноградные листья вместе с ягодами и, вообще, весь виноградник, и всё, что вокруг него: деревья, дома, людей, может горы... Вот бы увидеть и другие места, где он никогда не был! А он нигде не был, кроме Москвы и деревни Беяково Рязанской области, где жила бабушка, мать его мать.

Телевизор показывал и картины, в основном, старинные. Он до сих пор помнит ту, где три боярышни в сарафанах, красных сапожках и кокошниках, расшитых самоцветами и золотыми нитками, сидят на расписных лавках и примеряют серьги и бусы. Он с такой радостью смотрел на эту картину, как будто перед ним поставили целую миску пломбира, с изюмом, клубникой и фисташками.

Такой пломбир он ел только один раз. Ему тогда удалили железы, и врач велел матери купить мороженое и дать сразу после операции. Поликлиника находилась недалеко от Серпуховского универмага, где продавали этот пломбир. Стоил он дороже, чем обыкновенное мороженое, но мать расщедрилась. К сожалению, он не смог как следует распробовать пломбир, потому что в горле ещё не прошла заморозка.

Он знал, что картина с боярышнями называется «В тереме» (К. Е. Маковский. 1896 год), потому что она продавалась у них в комиссионном. И всё остальное, что показывали по телевизору в гроте, было тоже из их комиссионного. Но там он ничего не разглядывал, потому что там это был для него просто товар, вернее, груз, который надо таскать и паковать. Кроме,

конечно, «Купальщицы». Когда продавщицы восхищались каким-нибудь «шедевром музейного качества», он поддакивал из подхалимажа, но на самом деле ему было наплевать какого качества – музейного или нет – например, картина неизвестного художника «Леда и лебедь», из-за которой у него всю жизнь побаливает спина, потому что там была литая рама, килограммов на пятьдесят.

Товар в комиссионном не залёживался. Почти всё уходило быстро. Но к «Купальщице» никто даже не приценивался.

А однажды над ней поиздевались.

...Он и сейчас, спустя столько лет, помнит не только сам этот случай, но и ту ненависть – чувство, вообще-то ему не свойственное – которую испытал к ЕЁ обидчику.

Это был артист, притом, знаменитый. Он сразу узнал этого артиста, потому что у матери возле трюмо была пришпилена к обоям открытка с его фото. Явился он не один, а с целой компанией, тоже, наверно, артистов. От них несло водкой и духами. Они громко галдели, хохотали, расхаживали по торговому залу, как у себя дома. Дамочки небрежно вертели в руках фарфоровые и хрустальные вещи. Купить они ничего не купили, но истрепали продавщицам все нервы. Мужики разглядывали картины с обнажёнными женщинами и на весь магазин отпускали похабные шуточки. Когда они добрались до «Купальщицы», артист проблеял своим бабыим голоском:

– Эээнтиресссно, кто сотворил сию уродину?

Старший продавец Ирина Николаевна, которая вся кипела от возмущения, взяла себя в руки и вежливо ответила:

– Эту картину написал художник Пётр Павлович Андриевский. Дата написания – тысяча девятьсот двадцать пятый год.

Но артист продолжал хамить:

– Художник? – он издевательски хихикнул. – Мой шестилетний Николашечка, можно сказать, Репин по сравнению с этим вашим Андрейчуткиным, или как там его... Но уж так и быть: пожертвую вам Николашечкин шэээдэвр, именуемый Точка-точка-два крючочка, ручки-ножки-огуречик вот и вышел чэ-ло-брэчэк. Мой шоффэр привезёт.

Компания разразилась хохотом и аплодисментами.

Продавщицы молчали.

Но он, перетаскивая из одного угла в другой мраморную богиню со здоровенными крыльями, вдруг остановился и на весь магазин, отчеканил:

– Это син-те-ти-ческий кубизм. Если не разбираетесь в искусстве – не выступайте!

И добавил по-французски всплывший в памяти афоризм, из тех, которые заставляла его учить Корделия Вениаминовна:

– «L'ignorance est un crépuscule; le mal y rôde». Viktor Marie Hugo.

Не надеясь, что артист понимает по-французски, он перевёл:

– «Невежество – это сумерки; там рыщет зло». Виктор-Мари Гюго.

Поставив богиню, куда было нужно, он убежал в подсобку. Убегая, слышал, как, хохоча, взвизгивали дамочки, и как вся компания потешается над артистом.

Когда они, наконец, убралась, в подсобку втиснулись все три продавщицы. Они чмокали его, хвалили, восхищались его эрудицией.

...«Купальщица» провисела в комиссионном чуть больше года, а потом директор распорядился, чтобы её вернули владельцу, то есть племяннице Корделии Вениаминовны.

– Как неохота ей звонить... – вздыхала Нина Захаровна, – Начнётся: «Ну, пожалуйста, ну очень вас прошу, ну пусть ещё хоть немножко повисит!» А нас-то что уговаривать? Мы-то что можем сделать, если вещь не хотят покупать?

– Всегда одна и та же история... – вздохнула и Людмила Петровна

Ирина Николаевна, решительным тоном заявила:

– Ничего не поделаешь, девочки. Для нас приказ директора – закон.
Но чувствовалось, что и ей не по себе.

План созрел мгновенно и тут же был осуществлён с полным успехом.

Он предложил:

– Хотите, я позвоню? Она моя знакомая. Я с её тётей занимался французским. Я и картину ей могу отвезти.

Продавщицы обрадовались и, конечно, приняли его предложение. В накладной был адрес, поэтому не пришлось объяснять, почему он не знает, где живёт его знакомая.

Племяннице Корделии Вениаминовны он наплёл, что очень благодарен её тёте за то, что она с ним бесплатно занималась, и в память о ней хочет – тоже бесплатно – помогать по хозяйству её родным, то есть ей. Племянница – её звали не менее заковыристо, чем тётку: Генриетта Леопольдовна – растрогалась, назвала его «юношей с чуткой душой» и заявила, что ещё на похоронах тёти Кору он «произвёл на неё светлое впечатление». Поначалу она категорически отказывалась «эксплуатировать его душевный порыв», но, в конце концов, согласилась, однако при условии, что он будет регулярно у них обедать.

Генриетта Леопольдовна жила с дочерью, которая готовилась поступать в Библиотечный институт, где её мама преподавала зарубежную литературу. Это была та самая – и единственная – её дочь, которую он видел подростком на похоронах Корделии Вениаминовны. За полтора года она, конечно, повзрослела, но как была уродиной, так уродиной и осталась. Звали её тоже по-уродски: Мелисанда. Об её отце никогда не упоминали. Скорее всего, кто-то спяну заделал Генриетте Леопольдовне дочку, потому что трезвый мужик вряд ли полезет на такую скучную тётку с лягушачьим ртом и здоровенным носом. Пышные золотистые волосы не спасали. Генриетта Леопольдовна надеялась, что дочка унаследует эти волосы, из-за которых, собственно, и назвала её «как золотоволосую героиню изысканной пьесы Метерлинка «Пелеас и Мелисанда». Но фигушки! Дочкины волосёнки получились жиденькие, серенькие и секлись на кончиках. Зато она унаследовала мамин лягушачий рот и здоровенный нос

Саму Генриетту Леопольдовну тоже называли не просто так, а в честь корабля. Случай по-своему уникальный: обычно корабли называют в честь людей. А здесь – наоборот. К тому же корабль этот был взят не из жизни, а из книги, из «Вокруг света за семьдесят дней» Жюль Верна. Генриетта Леопольдовна раз десять рассказывала, почему «папочка настоял на том, чтобы её назвали «так и только так». Свой рассказ она подкрепляла цитатой, которая и вдохновила её папочку: «Когда «Генриетта» не могла одолеть волну, она шла сквозь неё и проходила, хотя палубу заливало водой». Но, как и в случае с Мелисандой, родители промахнулись: «проходить сквозь волну» Генриетта Леопольдовна не умела, даже кандидатскую так и не защитила. А вот насчёт Корделии Вениаминовны получилось правильно: старуха всегда лепила, что думает. Помнится, она как-то сделала ему замечание, что он «непочтительно отозвался о своей маме» (кажется, сказал, что его мать – тёмная, как тундра). Он от смущения задал дурацкий, дерзкий вопрос: «А вы, что ль, всегда родителей уважали?» «Уважала – всегда, а любила далеко не всегда, – отрезала она, то есть выступила в том же духе, как ответила отцу её тёзка в «Короле Лире»: «Люблю я вашу милость, как долг велит, не больше и не меньше».

В то лето он окончил вечернюю школу, уволился из комиссии и поступил в Библиотечный институт: Генриетта Леопольдовна ему «подстелила немножечко соломки». Мелисанда, естественно, поступила туда же, так что они теперь учились вместе.

Когда он увольнялся, ему устроили торжественные проводы с тортом и шампанским. Было сказано много тёплых слов. Директор подарил ему наручные часы «Слава», а продавщицы сбросились и купили югославский пуловер модного мышинового цвета.

Учился он старательно. По привычке. Литература и все остальные предметы его мало интересовали. Лишь однажды учебный процесс задел его за живое, это когда он читал по программе повесть Гоголя «Портрет». Он занервничал: а вдруг он тоже свихнётся, как этот Чарт-

ков? Но посидел, подумал и успокоился. Нет, у него не так. Во-первых, сама картина другая: там – портрет старика с живыми страшными глазами; здесь – девушка, у которой глаза вообще не нарисованы, потому что она повёрнута спиной. Во-вторых, Чарткову из-за этого портрета снятся кошмары, а ему Купальщица всегда поднимает настроение. И потом в рассказе за рамой этого портрета оказались деньги. Он усмехнулся. И, благо Мелисанда с матерью пошли в промтоварный магазин купить «кое-что дамское» (скорее всего, трусы или бюстгалтер), взял из буфетного ящика нож, который от долгого употребления так истончился, что стал, как лезвие для безопасной бритвы. Сняв картину со стены, он осторожно просунул нож между рамой и холстом; сначала внизу, потом вверху, потом справа, потом слева.

И вот слева зашуршало!

Он прижал это дело кончиком ножа и вытащил сильно пожелтевшую бумажку, свёрнутую в несколько раз. Развернул. Оказалось, это письмо.

Почерк был ровный, чёткий, но читалось с трудом, потому что чернила выцвели. Он помучился, но прочитал.

Пётр!

Я решила – и решилась – разорвать то немногое, что ещё уцелело от наших отношений. Уцелело, увы, немногое, а именно: привычка двух разнополых особей к телесному присутствию друг друга. Но даже эта привычка обрела формы столь рутинные, что унижает нас и, в особенности, меня как женщину, то бишь объект пассивный. Господь, который вручил мне моё «я», более не позволяет мне топтать Им вручённое. Крепись, Пётр. Сразу после Великого Поста я выхожу замуж. Полагаю более для тебя щадящим, чтобы ты узнал об этом от меня, любящего (о, всё ещё любящего!) тебя человека, а не от посторонних, которые насладились бы садистическим удовольствием от твоей реакции (растерянность и прочее). Жених мой – немец, молодой профессор, почти ровесник тебе, человек, во всех отношениях достойный, чему вполне соответствует его имя Абелард, что означает: благородный, надёжный, то есть тип, полностью противоположный твоему. При этом ему не в меньшей степени, чем тебе, присуще широкомыслие. И вот тому пример.

Вчера утром, когда ты, надо полагать, ещё почивал после обычного для твоего образа ночного кутежа, Абелард и я посетили «La Rotonde». После чашечки кофе с бриошами мы приступили к осмотру выставки.

Абелард пришёл в восторг от твоей «Купальщицы» (ах, от нашей, нашей с тобой «Купальщицы!»), хоть я не скрывала от него, что позировала для этой вещи. И вообще он знает ВСЁ. С глубокой серьёзностью глядя мне в глаза, Абелард сказал нижеследующее: «Это есть шедевр. Через твою земную плоть живописец показал высокий несмертный дух». Я специально оставила его слова без изменений, ибо в их некоторой некорректности, вполне простительной иностранцу, согласись, есть нечто трогательное и, вместе с тем, явственно проявилось широкомыслие.

Однако, речь сейчас о другом. Абелард и я желали бы приобрести «Купальщицу» за разумную цену. Но я вполне отдаю себе отчёт в том, сколь было бы для тебя оскорбительно предложение продать МНЕ «Купальщицу». И потому прошу тебя: подари её! Этот дар стал бы нетленным напоминанием о том периоде любви нашей, что был исполнен высоких чувств и утончённых ощущений.

Ежели ты решишь сделать нам сей дар, то пришли «Купальщицу» на мой столь хорошо известный тебе адрес не позже, нежели через неделю: мы с Абелардом весьма скоро уезжаем в Берлин, где он имеет скромный, но удобный особняк и кафедру в университете.

Прощай, не поминай лихом!

Купальщица

Внизу кривыми буквами было приписано:

«Нате, берите».

...С письмом в руках, забыв снять женские домашние тапки, в которые здесь переобувался, он бросился в картину и закричал:

– Как он мог, сволочь, пропить своё счастье?! Из-за него вы пошли за нелюбимого, за немчуру за этого! Да ещё нагрубил: «Нате, берите»... Гад! Гад!

Купальщица указала в сторону грота, и он прямо в тапках нырнул в залив.

...Телевизора и кресла в гроте теперь не было, но появилась высокая табуретка и стеклянный столик, на котором когда-то лежал калейдоскоп. Только теперь вместо калейдоскопа на столике была хрустальная посуда литра на полтора, доверху наполненная пломбиром с изюмом, клубникой и фисташками, а сверху громоздилась шапка из взбитых сливок, усыпанная тёртым шоколадом и украшенная сверху засахаренной вишенкой. На хрустальной подставке лежала серебряная ложечка.

Никогда – ни до, ни после – он не ел ничего столь вкусного! А ведь в последние годы он мог позволить себе любые деликатесы.

К тому моменту, когда Генриетта Леопольдовна и Мелисанда вернулись домой, он успел съесть весь пломбир, сунуть письмо обратно за раму и повесить картину на место.

– Мама, а Володя без нас лакомился мороженым и перепачкал губы! – сказала Мелисанда и растянула рот в лягушачьей улыбке.

Он облизнулся: да, губы сладкие...

Соврал:

– Захотелось вдруг мороженого. Купил по дороге. Может, сбегать, купить вам?

– Не надо, Володя, спасибо, мы сейчас будем обедать. По-английски. Как раз семь часов, – Генриетта Леопольдовна тоже улыбнулась, и тоже по-лягушачьи...

Из института он обычно возвращался с Мелисандой. Иногда с ними ехала в электричке и Генриетта Леопольдовна. Дома разогревали приготовленную с утра еду и обедали «по-английски», то есть ужинали. Потом они с Мелисандой убрали посуду и занимались за тем же обеденным столом.

Он всегда сидел напротив стены, где висела «Купальщица», делая вид, что читает или думает, и ему ничто не мешало залезать в картину.

– Видишь, Мелисанда, как Володя сосредоточен, несмотря на громогласные разговоры соседей, – сказала как-то Генриетта Леопольдовна. – А ты вечно жалуешься, что этот шум мешает тебе сосредоточиться.

– Мама, он особенный...

Мелисанда улыбнулась, отчего её губы раздвинулись так, что уголками почти наехали на уши.

Дома он теперь только ночевал. Общался с матерью по утрам, пока они ели. Разговоры были всегда одни и те же: он, в основном, молчал, а она жаловалась, что ей чего-то не начинали, не отладили, как надо, станок, или, что начальник цеха с ней неуважительно разговаривал, хотя у неё трудовой стаж в пять раз больше, чем у него. Он быстро съедал кашу или оладьи, или что там она настряпала, и ехал в институт, а если было воскресенье, уходил к себе за шкаф, ложился на кровать, читал что-нибудь по программе или просто ждал завтрашнего вечера, то есть, когда, наконец, получит возможность войти в картину.

К третьему курсу ему так надоело каждый день мотаться из Филей, где жили Генриетта и Мелисанда, к себе на Большую Калужскую, что он женился на Мелисанде и переехал к ним.

Генриетта Леопольдовна не возражала, хотя у них была всего одна комната, правда, большая: двадцать три квадратных метра. И не только не возражала, а была «душевно рада лич-

ному счастью дочери». В качестве свадебного подарка она преподнесла молодым старинную ширму восточной работы, которую купила в комиссионном магазине, где раньше работал зять. По ширме, среди ветвей цветущей вишни, а, может, сливы, летали раскосые феи с веерами.

– Правда, дивная вещь? – восхищалась Мелисанда. – Только мама, с её изысканным вкусом, могла заметить это чудо среди нагромождения антикварной пошлости.

Он промолчал, хотя сам никогда бы не купил вещь в таком состоянии: и ветки с цветами, и феи с их веерами сильно обליняли. Это б ещё ничего, но древожорка настолько изрешетила деревянный каркас, что от малейшего движения ширма тряслась, а один раз даже упала, притом – в самый неподходящий момент. Хорошо ещё, что она упала на кровать и накрыла их собой.

... Два с половиной года, что они прожили с Мелисандой, были самыми счастливыми в их жизни. Мелисанда упивалась неземной любовью к своему «королевичу» и не замечала довольно прохладного отношения с его стороны. А он был счастлив, потому что пока был на ней женат, считал картину «Купальщица» своей законной собственностью, поскольку являлся членом семьи её владелицы. В этот период его вхождения в картину были особенно радостными. После случая с письмом ОНА стала с ним здороваться, то есть распрямляла правую руку и махала ему. Когда это случилось в первый раз, на его обычно хмуром лице возникла улыбка, которая сразу исчезла, когда к нему привалилась Мелисанда и громко зашептала прямо в ухо: «Королевич мой ненаглядный! С какой глубокой нежностью ты мне улыбаешься!»

Тем временем умер Сталин. Теперь в их коммуналке каждый вечер шла грызня на политические темы. Крепкая старуха Артемьевна, работавшая в гастрономе уборщицей, истово, с матерной бранью, заступалась за Сталина, а доходяга-алкаш Захарыч – тоже матом – Сталина костерил. Соседи попримичнее возмущались их руганью, но и они нет-нет, да ввязывались в дискуссию. Даже Генриетта Леопольдовна при всей своей интеллигентности однажды высказала перед «этими простыми людьми» своё мнение по данному вопросу. Она словно лекцию им читала, потряхивая хлебным ножом, как указкой, и её преподавательский голос, ровный и громкий, перекрывал даже визгливый мат Артемьевны:

– Достоевский писал: никакая великая идея не стоит слезинки ребёнка, а Сталин заставил народ пролить моря слёз и океаны крови! Василий Захарович абсолютно прав в своём гневе, хотя обценная, иными словами, нецензурная лексика, которую он употребляет, доказывая свою правоту, недопустима, тем более в местах общего пользования.

Ни Мелисанда, ни сам он в таких дебатах никогда не участвовали: им было не до этого: они писали дипломные работы.

Развелись они сразу после защиты. Но дело было не в защите. И не в их отношениях. Конечно, кое-какие шероховатости случались – не без того – но даже не между ним и Мелисандой, а между ним и тещей, которая стремилась сделать из него «благородного человека в полном смысле этого слова». Серьёзная стычка произошла между ними из-за похорон Нины Захаровны. Пышная здоровячка, кровь с молоком, Нина Захаровна скоростижно умерла на работе от разрыва сердца (тогда еще не было в ходу слово «инфаркт»). Зато теперь, в двадцать первом веке, если он умрёт от этого дела, то врачи будут констатировать инфаркт миокарда, хотя «разрыв сердца» звучит человечнее...

А было так.

Позвонила Ирина Николаевна, сообщила о печальном событии и о том, когда состоится кремация. Ни его, ни Мелисанды дома не было. Трубку взяла Генриетта Леопольдовна. Всклипывая, Ирина Николаевна ей поведала, как много добра сделала покойница для Володи.

В крематорий он не поехал, а на вопрос Генриетты Леопольдовны «Почему?!» ответил, что должен выспаться, чтобы на следующий день пойти к дипломному руководителю со свежей головой.

И вот тогда тёща впервые повысила на него голос. Она выкрикивала упрёки, обзывала его циничным, жестоким, неблагодарным, неблагородным и даже «преступно равнодушным».

Он огрызнулся:

– Вы-то чем лучше? Вы хоть раз сходили к своей тёте на могилу? А она, между прочим, оставила вам всё своё имущество!

Вмешалась Мелисанда. Она расплакалась и уговорила их друг перед другом извиниться. Конфликт был погашен.

Но причиной развода стала отнюдь не критика тёщи, а, напротив, её чересчур большая заботливость.

Эту роковую для брака дочери заботливость Генриетта Леопольдовна проявила во время «торжественной семейной трапезы с шампанским и крабовым салатом».

Трапезу устроили в честь того, что «наш дорогой Володя получил диплом о высшем образовании» (Мелисанда должна была защищаться через неделю). После первого тоста «За успехи на благородном поприще просвещения» Генриетта Леопольдовна заявила, что когда Володя «вступит в должность, ему будет жизненно необходим достойный костюм и, разумеется, достойная обувь». Поскольку *таких*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.